

Предисловие

К полувековому юбилею
«Истории любви»

Романтическая, остроумная, строгая, простая, трогательная и нисколько не утратившая свежести, «История любви» вышла в 1970 году, за десять лет до моего рождения. Я не застала тогдашнего фурора. Не застала многомиллионных тиражей в бумажных обложках и рекордных — в твердых. Не застала шапок 24-м кеглем, рекордных кассовых сборов и плачущих зрителей по всему миру, от Токио до Теннесси, от Лондона до Лагоса, — в том же году, когда на экраны вышел фильм. Почти не застала тех четырнадцати лет, когда Дженнифер было самым популярным именем новорожденных девочек в США. «История любви» растрогала Америку и позволила утомленным снова поверить в любовь.

Чтобы понять ее исторический контекст, важно вспомнить, насколько отличалась от нынешней та эпоха — до интернета, до того, как родилось выражение «взорвать Сеть». Только Битлы перед этим захватили мир так же. Повесть перевели на тридцать три языка. Книжку прочел каждый пятый американец — простую повесть о любви Оливера Баррета IV, гарвардского хоккеиста-чемпиона, и Дженни Кавильери, острой на язык студентки музыкального отделения из простой семьи.

Написав 131 страницу прозы, мой отец стал всемирно знаменитым — его полюбила читающая публика и осмеивали завистники в ученых кругах, считавшие, что профессорам негоже снисходить до массовой культуры. И этого я тоже не застала. Но повесть я знаю, и мне посчастливилось знать ее замечательного автора. Отец был душевным человеком и написал чистую, нежную повесть. В ней отразилась его душа, его сердечность, честность и юмор.

За книгу, которую вы держите в руках, он сел в тридцатилетнем возрасте,

в морозные, заснеженно-тихие каникулы в Кембридже, Массачусетс. Он был молодым деятельным профессором античной литературы и компаративистики в Йеле и только что узнал, что жена его бывшего студента в Гарварде умерла от рака в возрасте двадцати пяти лет. Отец, всего несколькими годами старше, еще не отошедший после смерти своего отца, был потрясен этим известием.

Дженни и Оливер познакомились. Они полюбили друг друга, но его родители против брака. Дженни умирает, сердце Оливера разбито — и наше тоже. «Повесть, которую никто не отваживался написать и все ожидали прочесть» — так оценила ее дерзкую простоту «Ле Мوند».

В 1970 году Америка была ранена, раздираема надвое долгой войной во Вьетнаме. В кино — насилие, эротика, цинизм. Убит Мартин Лютер Кинг. Между поколениями — пропасть, кажется, непреодолимая: республиканцы, доблестно служившие родине во Вторую мировую войну и в Корее, не понимали своих длинноволосых сыновей, рвавших при-

зывные карточки, протестовавших против войны и отвергавших все, на чем стояли их родители. «Молчание растет, как рак», — пели Саймон и Гарфункель после убийства Джона Фицджеральда Кеннеди¹; немое отчуждение между родителями и детьми по всей стране.

В «Истории любви» на первом плане моральные ценности Дженни, и прежде всего — почитай отца твоего и мать. Очарование этой повести и сегодня, полвека спустя, отчасти в том, что это на самом деле две истории любви: одна — мужчины и женщины, другая — отца с сыном. Финальное примирение, когда горе приводит Оливера в объятия отца, было тайной надеждой отцов и сыновей в Америке.

Прошло пятьдесят лет; политический и эмоциональный ландшафт в Америке неузнаваем в сравнении с бучей 1970-х, но во многих отношениях он такой же

¹ Имеется в виду песня «The Sound of Silence» с первого альбома дуэта («Wednesday Morning, 3 A.M.», 1964), ставшая большим хитом год спустя в версии с дополнительной оркестровкой; этот вариант вошел во второй альбом дуэта («Sounds of Silence», 1966). — *Здесь и далее примеч. перев.*

точно. Страна опять расколота. После президентских выборов 2016 года нарастает гнев, обида и недоверие между правыми и левыми, республиканцами и демократами — укоренившуюся рознь преодолевать придется годами. Примирение непримиримых, воссоединение двух мужчин, разделенных глубоким конфликтом убеждений, — в 2020 году, перед грядущими выборами, это воссоединение Оливера Баррета IV и Оливера Баррета III читается, как никогда, аллегорией, надеждой, обещанием. Оно напоминает нам о том, что Америке удавалось преодолевать глубокий раскол прежде и удастся вновь; она бывала ранена и залечивала раны. Хиппи, дитя любви 1960-х, сегодня — ласковая бабушка; маятник не раз качнулся на ее веку.

Отсутствие отца я ощущаю каждый день. Он любил мою мать горячо и преданно; всем своим нежным и щедрым сердцем любил меня и мою сестру Миранду. Своими рассказами он привносил волшебство в нашу жизнь и на собственном примере показывал, что значит

ценить долгий и счастливый брак. Литература была средоточием нашей семьи, языком, на котором мы общались, любовью, объединявшей родителей. Они часто сидели рядом на диване с раскрытыми скоросшивателями на коленях, спорили из-за фраз, обменивались цепочками синонимов, словно проявлениями нежности. Отец жил так, как творил, — честно, без притворства и хитростей. Писать это предисловие — честь для меня, но как бы хотелось мне, чтобы он написал его сам. Знаю, как бы он радовался и гордился тем, что эта обманчиво бесхитростная повесть тронет сердечные струны молодого племени. Есть истории, которые не сдаются времени, и сегодня, как никогда, мы хотим верить в любовь. Нам *необходимо* в нее верить.

Не случайно, что отец был специалистом по античной литературе. Сюжет этой повести стар как мир — и несколько не устарел. То же относится ко всем его романам. В каждом — крупная серьезная тема: религия, семья, неверность, медицина, наука, но в первую очередь они о людях; стремительный сюжет, увле-

кательная фабула, живые, яркие характеры. Они реальные люди, мы можем разделять их переживания. В «Мужчине, женщине и ребенке» перед отцом встает неразрешимая дилемма после давнишнего романа на стороне. Во «Врачах» мы попадаем в беспощадный мир гарвардского медицинского факультета 1960-х годов, где двое молодых медиков борются за собственную жизнь. (Он навсегда полюбил Гарвард, где был счастлив и снискал успех. Окончил он по классу поэзии и по античной литературе — такого удалось достичь только лишь Т. С. Элиоту). В основании всего написанного моим отцом, включая его популярную прозу, лежат глубокие гуманитарные познания. Всего за три года до «Истории любви» он опубликовал «Римский смех: комедия Плавта», текст революционный для весьма аскетичного академического мира, поскольку Плавт был первым по-настоящему популярным римским драматургом («популярный» от латинского *popularis*, то есть «народный»). Прежде историки снисходительно относились к успеху Плавта у современников; отец

ЭРИК СИГАЛ

же обожал даже самые ранние формы народных представлений и, в отличие от многих коллег, понимал, что растрогать широкую публику, завладеть ее сердцами способна вовсе не банальность. Для этого необходимо понимать рядового человека и любить его. Ведь это у него в реальной жизни случаются трагедии и к нему приходит любовь.

Франческа Сигал

*Сильвии Хершер
и Джону Флакмену*

...namque... solebas
meas esse aliquid putare nugas¹

¹ Ты безделки мои считал за дело (*лат.*). Валерий Катулл. Перевод Адриана Пиотровского.

1

Что сказать о девушке, умершей в двадцать пять лет?

Что она была красивая. И умная. Что любила Моцарта и Баха. И Битлов. И меня.

Однажды, когда она включила меня в компанию этих музыкантов, я спросил, в каком порядке они у нее стоят, и она с улыбкой ответила: «В алфавитном». Я тогда тоже улыбнулся. А теперь сижу и думаю: если бы я был у нее в списке под своим именем — шел бы за Моцартом, а если под своей фамилией — тогда пролез бы перед Бахом и Битлами. В любом случае первым бы не шел, что по какой-то дурацкой причине меня огорчает, я ведь рос с представлением, что везде должен быть первым. Семейное, понимаете?

Осенью на последнем курсе я повадился ходить в библиотеку Рэдклиффа¹. Не только чтобы поглазеть на чувих, хотя и за этим тоже. Читальня была тихая, никаких знакомых, и спрос на ходовые книги меньше. За день до экзамена по истории я еще не приступал к чтению первой книги в списке — эндемическая болезнь Гарварда. Я не спеша подошел к столу выдачи, чтобы попросить том, который поможет мне выпутаться завтра. За столом работали две девушки. Одна высокая, теннисного типа, другая мышастенькая, в очках. Я выбрал шуструю четырехглазку.

— У вас есть «Осень Средневековья»?²

Метнула на меня взгляд. Спросила:

— У вас есть своя библиотека?

— Слушай, Гарвард разрешает пользоваться библиотекой Рэдклиффа.

— Я не о формальностях, новенький. Я об этике. У вас там пять миллионов

¹ *Рэдклифф* — женский колледж в Кембридже, Массачусетс. Организационно связан с Гарвардским университетом.

² «*Осень Средневековья*» (1919) — философско-культурологический трактат голландского историка Йохана Хейзинги (1872–1945).

книг. У нас — несчастные несколько тысяч.

Тоже мне высшее существо! Думают, что Рэдклифф относится к Гарварду как пять к одному и девушки в пять раз умнее. Вообще, таких я съедаю без соли, но мне позарез нужна была чертова книжка.

— Слушай, мне нужна чертова книжка.

— Можно без сквернословия, мажор?

— Почему ты решила, что я мажор?

— С виду глупый и богатый, — сказала она, сняв очки.

— Ошибаешься, — запротестовал я. — На самом деле умный и бедный.

— Нет-нет, умная и бедная — это я.

Она смотрела мне в глаза. У нее были карие. Ладно, пусть я выгляжу богатым, но какой-то барышне из Рэдклиффа — даже с красивыми глазами — не позволю называть меня глупым.

— А ты отчего такая умная?

— Потому что не пошла бы с тобой пить кофе.

— Знаешь, я бы и не предложил.

— Вот поэтому ты глупый, — сказала она.

Позвольте объяснить, почему я пригласил ее выпить кофе. Ловко капитулировав в решительный момент — то есть притворившись, что мне вдруг захотелось кофе, — я получил книгу. А поскольку она не могла уйти до закрытия библиотеки, у меня хватило времени выцедить важные фразы о том, как в одиннадцатом веке влияние Церкви на монархов сменялось влиянием юристов. На экзамене я получил пять с минусом — и столько же, кстати, поставил ногам Дженни, когда она вышла из-за стола. Не могу сказать, что дал высокий балл ее наряду — на мой вкус, немного чересчур богемному. Особенно противной была индейская штука, служившая сумочкой. К счастью, я не высказался — как выяснилось позже, это было ее собственное творение.

Мы пошли в ресторан «Лилипут», где кормили сэндвичами, и, вопреки названию, не только малорослых. Я заказал два кофе и шоколадное пирожное с мороженым (для нее).

— Я Дженнифер Кавильери, — сказала она. — Американка итальянского происхождения.

Как будто я не догадался.

— Специальность — музыка, — добавила она.

— Я Оливер.

— Это имя или фамилия?

— Имя, — ответил я и затем признался, что полное имя — Оливер Баррет. (Отбросив какие-то мелочи.)

— А, — сказала она. — Баррет — как поэтесса?¹

— Да, — сказал я. — Не родственница.

Последовала пауза, и я порадовался про себя, что она не продолжила вопросом: «Баррет — как Холл?», потому что особая для меня заноза — быть родственником того, кто построил Баррет-Холл, самое большое и уродливое здание на «Гарвардском дворе», — колоссальный памятник моим семейным капиталам, тщеславию и самодовольному гарвардизму.

После этого она заметно успокоилась. Неужели мы так быстро исчерпали темы

¹ *Элизабет Баррет Браунинг* (1806–1861) — английская поэтесса, жена поэта Роберта Браунинга.

для беседы? Или я ее разочаровал — что не родственник поэтессы? А? Она сидела напротив меня с полуулыбкой. Чтобы чем-то заняться, я просмотрел ее блокноты. Почерк был интересный: мелкие угловатые буквы без заглавных (кем она себя считает — э. э. каммингсом?)¹. И предметы взяла крутые: Сравн. лит. 105, Музыка 150, Музыка 201...

— Музыка двести один? Разве это не выпускной курс?

Она кивнула, не очень умело скрывая гордость:

— Ренессансная полифония.

— Что такое полифония?

— К сексу не относится, колпачок.

Почему я это терпел? Она что, не читает «Кримсон»?² Не знает, кто я такой?

— Э, ты не знаешь, кто я такой?

— Ну как же, — ответила она с легким пренебрежением. — Это тебе принадлежит Баррет-Холл.

¹ *Эдвард Эстлин Каммингс* (1864–1962) — американский поэт-модернист, прозаик, художник. Писал свои инициалы и фамилию с маленькой буквы.

² «*Гарвард Кримсон*» — ежедневная студенческая газета Гарвардского университета, выходит с 1873 г.

Действительно не знала.

— Он мне не принадлежит, — уточнил я. — Это мой прадедушка подарил его Гарварду.

— Чтобы его правнучка наверняка приняли?

Это уже был край.

— Дженни, если ты так уверена, что я баран, зачем выставила меня на кофе?

Она посмотрела мне в глаза и улыбнулась:

— Мне нравится твое тело.

Привыкший к победам должен уметь проигрывать. Парадокса в этом нет. Это типично гарвардское умение: превратить поражение в победу.

«Не повезло, Баррет. Ты шикарно сыграл».

«Да? Рад, ребята, что вы так к этому отнеслись. Понимаю, как вам нужен был выигрыш».

Конечно, настоящая победа предпочтительнее. То есть если бы выбор был за тобой, то желательно, чтобы в конце счет был в твою пользу. И, провожая Дженни к общежитию, я все же верил в конечную победу над этой рэдклиффской цацей.

ЭРИК СИГАЛ

— Слушай, нахальная рэдклиффская фря, в пятницу вечером хоккейный матч с Дартмутом.

— Ну?

— Хочу, чтобы ты пришла.

Ответила с обычным рэдклиффским почтением к спорту:

— На черта мне смотреть дурацкий хоккей?

Я небрежно ответил:

— Потому что я играю.

Короткая пауза. Казалось, слышу, как падает снег.

— За кого? — сказала она.